



Ю. Ф. КАРЯКИН

**Правда посюстороннего мира
(К столетию романа Ф. Достоевского
«Преступление и наказание»)**

Задача истории... с тех пор, как исчезла правда потустороннего мира, утвердить правду посюстороннего мира.

К. Маркс

В декабре 1866 года в журнале «Русский вестник» появились последние главы «Преступления и наказания». В 1867 году роман вышел отдельным изданием.

Совершилось одно из самых великих художественных открытий человечества. Люди узнали о себе такое, чего до сих пор не знали или боялись знать. Буржуазная, мещанская, «антропофагская» идеология получила один из самых сокрушительных ударов.

Столетие с момента выхода романа — случай не для славословия Достоевского, а для размышления над вопросами, им поставленными.

Вообще юбилеи Достоевского меньше всего похожи на праздники, и, может быть, это особенно верно по отношению к роману «Преступление и наказание». Подобные же мысли возникают (пока) по случаю памятных дат открытия атомной энергии.

«Чтоб хорошо писать, страдать надо!»

«Чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать!» — повторял Достоевский.

«Преступление и наказание» — самый выстраданный его роман. Еще в 1859 году он говорил брату: «Все сердце мое с кровью положится в этот роман».

Никогда он не был в таком бедственном, критическом положении, как в 1863–1865 годах. Он бежит за границу от кредиторов, а там играет в рулетку, все проигрывает и вынужден заложить свои часы и кольцо своей возлюбленной — А. Суловой. Умиравшая жена осталась в России. «А мне надо деньги. Для меня, для тебя, для жены, для написания романа... Тут шутя выигрывают десятки тысяч. Да я ехал с тем,

чтобы всех нас спасти и себя от беды выгородить», — пишет он брату, а тот возмущен: «Не понимаю, как можно играть, путешествуя с женщиной, которую любишь?»

1864 год проходит в Петербурге под ежедневной угрозой долговой тюрьмы. Сумма долга вырастает почти до 40 тысяч рублей. Умирают жена писателя, брат Михаил и ближайший друг А. Григорьев. («И вот остался вдруг один, и стало мне страшно».) Снова заграница, снова игра и проигрыши.

В Висбадене вызревает решение начать «Преступление и наказание». И Достоевский начинает писать, хотя: «...Рано утром мне объявили в отеле, что мне не приказано давать ни обеда, ни чаю, ни кофею... Продолжаю не обедать и живу утренним и вечерним чаем уже третий день — и странно, мне вовсе не так хочется есть. Скверно то, что меня притесняют и иногда отказывают в свете по вечерам...»

В эти годы он очень лично переживает те самые идеи, которыми насыщен его роман. Страдания духовные были несравненно тяжелее страданий материальных. Два факта здесь особенно важны.

А. Сулова признается, что мечтала убить царя: «Очень уж увлекает. Огромность шага. В конце концов, как просто, подумай только — один жест, одно движение, и ты в сонме знаменитостей, гениев, великих людей, спасителей человечества». (Как видим, совершенно «наполеоновская идея» Раскольников.) Достоевский угрюмо возражает:

- Славу добывают трудом.
- Или беспримерной смелостью.
- А о муке ты не подумала?*

(Кстати, когда три года спустя, 4 апреля 1866 года, Каракозов стреляет в Александра II и промахивается, Достоевский называет его «несчастливым слепым самоубийцей». В этот момент его работа над романом в самом разгаре, и, несомненно, выстрел Каракозова нашел свой отзвук и здесь.)

Но еще более значительным представляется такой факт. На следующий день после смерти жены Достоевский делает потрясающее признание, сильнее которого даже ему принадлежит мало:

«16 апреля. Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?...». <...>

А в России в это время надвигается «век пороков и железных дорог». Ваал и здесь набирает силу. Кабак начинает вытеснять церковь (первоначально роман должен был называться «Пьяненькие» и тема Мармеладова намечалась как главная).

А в Европе Достоевского ошеломляет уже торжествующее мещанство с его катехизисом «накопить денежки и завести как можно больше

* Цит. по: Гроссман Л. Достоевский. М., 1962. С. 278–279.

вещей» и свобода для честолюбцев. Один из них, едва ли не самый ничтожный и преуспевающий, Наполеон III, даже пишет «Историю Юлия Цезаря», исторически обосновывая свою гениальность и право гения, особенно политического, на подлость, на «все дозволено».

И вообще «слишком шумно и промышленно становится в человечестве». «Помутнились источники жизни»... <...>

«Преступление и наказание» — это органический художественный сплав переживаний и размышлений и о себе, и о своем народе, и о судьбах человечества.

«Да ведь тут арифметика!»

Сегодня «Преступление и наказание» — одно из наиболее признанных произведений во всем мире и, уж во всяком случае, самый известный из романов Достоевского. Это и самый социально острый и объективный его роман. Сто лет внимание читателей приковано к нему. И здесь сразу же надо добавить: «К сожалению». К сожалению именно потому, что роман остается злободневным, потому, что слишком много за эти сто лет произошло преступлений и слишком мало наказаний. Освенцимов до сих пор больше, чем Нюрнбергов. Однако нельзя не добавить: «И к счастью». К счастью именно потому, что люди не смирились с преступлениями и все глубже задумываются над вопросом о том, как сделать, чтобы Нюрнберги были до Освенцимов, вернее, вместо Освенцимов и чтобы вообще не было ни тех, ни других.

Достоевский был одержим мыслью о том, что идеи вырастают не в книгах, а в умах и сердцах и что высеиваются они тоже не на бумагу, а в людские души. Нет идей невоплощенных. Нет идей вне человека. Идеи — это не тисненные переплеты книг, а кровь, плоть и души людские, это не фолианты, размещенные в образцовом порядке на полках, а люди, миллионы людей, схлестнутые в хаотической борьбе не на жизнь, а на смерть. Идеи — болезнетворные или спасительные микробы души. Вне души их просто нет. И «главный убивец» — по Достоевскому — тот, кто обосновывает убийство идейно. Вначале было Слово... В одной из черновых записей Достоевский определяет тему Раскольниковова как повесть о «теоретическом преступлении». Идеологи для него — самые ответственные люди, во всяком случае, не менее ответственные, чем политики. Достоевский понял, что за внешне привлекательные, математически выверенные и абсолютно неопровержимые силлогизмы приходится порой расплачиваться кровью, кровью большой и к тому же не своей, чужой.

Противопоставление социально бедственного положения Раскольниковова и его честолюбивых замыслов (тоже имеющих социальные

источники), выразившееся в формуле «Разгадка преступления Раскольников не в голове, а в его кармане», не стало более верным с того момента, как сто лет назад эта формула была провозглашена великим русским критиком Писаревым, который в данном случае совершил один из своих самых серьезных промахов.

Впервые основная идея романа — нераздельность ума и совести, нераздельность всех людей мира — запала Достоевскому еще в 30–40-х годах от Бальзака (Достоевский зачитывался им тогда, а «Евгению Гранде» даже перевел).

У Бальзака в «Отце Горио» парижский студент шутливо рассуждает о том, допустимо ли ценой смерти безвестного мандарина получить богатство и славу. Только пожелай — и все получишь... Но студент оказался гуманистом, и мандарин этот остался жив (а китайский студент тогда еще не задумывался о судьбе какого бы то ни было француза и, уж во всяком случае, не брался ее решать).

Достоевский заново и по-своему переживает эту идею.

Когда перед убийством Раскольников посетил ростовщицу, там, в ее квартире, у него и возникла мысль: «И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!»

Без солнца мир для него (как и для Достоевского) все же немислим.

Более того, ему кажется, что солнце «тогда» будет светить еще ярче, ибо, убив ростовщицу, он, «по теории», «по арифметике», совершит двойное благо — избавит мир от паразита и использует ее богатства в интересах людей <...>. Итак, необходимость «арифметики» обоснована. Теория «крови по совести» превосходна. Начинается практика.

«Случайно» ему приходится убить и Лизавету, сестру старухи, свидетельницу преступления. А та, говорят, беременна, да еще выясняется (опять «случайно»), что она обменялась нательными крестиками с Сонечкой Мармеладовой. Вместо Раскольникова в своей вине признался — тоже «случайно» — ни в чем не повинный, затравленный Миколка. Да еще начинает сверлить мысль: не от рождения же «старушонка» та «вошь»? А сам Раскольников будто отрезал себя от людей, не старуху убил, а себя.

Солнце погасло.

Дело пошло не «по арифметике». Одной смертью не обошлось. Реакция становится непредвиденной, цепной и неуправляемой. Обнаруживается ее неумолимая и страшная логика. В конце концов, из-за преступления сына умирает и мать.

«Случайной» оказывается сама бесконечно сложная, противоречивая жизнь, которую нельзя втиснуть ни в какую таблицу умножения, какой бы «необходимой» она ни казалась.

Но если дорога в ад вымощена благими намерениями, то куда же, в какой трижды ад, ведет она при намерениях дурных?

Если даже одна «трихина» (идейный, античеловеческий микроб, по Достоевскому) даже в одной такой, в сущности, светлой голове, как у Раскольникова, даже в таком, в сущности, чистом сердце, как у него, приносит столько зла, то что же может получиться, если трихины подобные будут высеяны в худшую почву? Если попадут они не в ясную голову и проникнут не в чистое сердце? Если преступления будут совершаться не во имя светящего солнца, не во имя солнечной идеи, а как раз во имя тьмы, во имя идеи темной, во имя того будущего, каким представлял его себе Свидригайлов: «будет там одна комнатка, эдак вроде деревенский бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность»?

И Достоевский в бредовых снах Раскольникова рисует страшную картину идейной эпидемии, «антропофагии», охватившей мир и грозящей ему смертью: «...весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслышанной и невидимой моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром...»

А все это «троглодитство» началось с «арифметики», все началось с того, что решили, будто с истиной $2+2 = 4$ можно определять судьбы людей.

Начинать же надо с того, чтобы объявить человека неподвластным законам «арифметики». По отношению к людям «арифметика» — это самая опасная наука, наука смерти, обосновывающая «всеобщее поядение». И если уж употреблять это слово — «считать», то людей надо «считать» с точностью до единицы, не «округляя» ни на миллионы, ни на десятки. «Округление» чревато гильотинированном. А «считать» людей с точностью до единицы — значит видеть в каждом из них бесконечность нового, неповторимого мира.

Человечество вечно будет благодарно Достоевскому, который, может быть, больше, чем какой-либо другой художник, заставляет людей

буквально обжечься мыслью об опасности «арифметики» и о спасительности «счета» с точностью до единицы.

Славянофил Н. Н. Страхов (см.: Отечественные записки. 1867. № 2) отмечал, что Достоевский изображает в романе не карикатуру, а трагедию нигилизма, и Достоевский соглашался с ним («Вы одни меня поняли»). Но в действительности, как доказали уже критики демократического лагеря 60-х годов XIX века Писарев, Елисеев и др., карикатура и здесь проникла в трагедию постольку, поскольку Достоевский ставит уголовное — пусть идейно обоснованное — преступление на одну доску с революционным действием (с тем же выстрелом Каракозова, например). А впоследствии Достоевский сблизил Герцена с... Нечаевым, действительно стремившимся низвести революционность до уголовщины. Того Герцена, который писал: «Я... воспитал в себе отвращение к крови, если она льется без решительной крайности» (это воспитание было тоже неотъемлемой частью его диалектики как «алгебры революции»). Того Герцена, который уже знал, что «великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей», что «дурные средства непременно должны... отразиться в результатах» и что «взять неразвитие силой невозможно». Того Герцена, который, оставаясь революционером, резко выступал против бездумной революционности, компрометирующей и социализм и революцию, который предупреждал Огарева от увлечения нечаевскими «прожеками» («вместе со всеми Нечаевками — отрекись от abortивных освобождений») и который предрек, что Нечаев «наделает бед» в России. И вот этому Герцену Достоевский в «Бесах» приписывает стихотворение, посвященное Нечаеву. В действительности стихотворение это принадлежит Огареву, так и не внявшему советам друга. И, кстати, одним из проявлений действительной, а не мнимой трагедии Герцена и были его переживания, связанные с тем, что многим «нетерпеливцам» из революционеров молодого поколения была чужда его выстраданная мудрость...

И все же не так просто, конечно, обстоит дело, будто в голову «чистому» Раскольникову пришла «нечистая» идея, и он, мечтавший о благе для человечества, но задавленный тяжелейшими социальными условиями, решается на преступление ради этого блага. Сущность образа Раскольникова до конца не может быть понята, если свести ее к проблеме «добрая цель — дурные средства». Эта антиномия оказывается поверхностной, «дурной».

Достоевский писал в черновиках о Раскольникове: «В его образе выражается в романе мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу. Его идея: взять во власть это общество, чтобы делать ему добро. Деспотизм его черта... Он хочет властвовать —

не знает никаких средств. Поскорей взять во власть и разбогатеть. Идея убийства и пришла ему готовая...» «Свобода и власть, а главное, власть! Над всей дрожащей тварью, над всем муравейником», — восклицает Раскольников уже в романе, а не в черновике. — «Что на копейки сделаешь?» — говорит он. — Мне бы «сразу весь капитал... Нет, мне жизнь однажды дается и никогда ее больше не будет, я не хочу дожидаться “всеобщего счастья”. Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить».

Вот, оказывается, какой червь грызет и эту душу. Вот она, еще одна — «подпольная» — цель, в виде мотива, цель, которая сталкивается с другой целью («всеобщее благо») и на время побеждает эту последнюю и в то же время прикрывается ею. (Недаром Свидригайлов говорит Раскольникову: «Между нами есть какая-то точка общая, а?»)

Выходит, цель такого самоутверждения и определяет средства, а средства суть не что иное, как реализация именно этой цели. Все дело, значит, в том, чтобы докопаться до реальной цели, которую ставит перед собой человек, иначе говоря, до подлинных мотивов, источников его деятельности. Они-то, эти источники, и оказываются, по Достоевскому, больше всего и сильнее всего отравленными. Поэтому-то Раскольников и не кается в своем преступлении буквально до последней страницы романа. Идея «арифметики» есть не просто обоснование известных средств, а выражение истинного мотива, подлинной цели. Это самоцель, осуществляющая себя как таковую.

Теория «крови по совести» призвана заглушить нечистую совесть, обосновать ее историческую целесообразность, ее объективную прогрессивность. Фразы о «всеобщем благе» оборачиваются жаждой эгоистического самоутверждения. Святое, казалось бы, нетерпение — увидеть мир светлым и новым — скрывает отнюдь не святое нетерпение, нетерпение абсолютно другого рода — желание поскорее — пока жив! — взять свое, а платят, жертвуют пусть другие и притом почитают эту плату, жертву эту за счастье, за высшее доверие. А средства как раз и соответствуют такой неправой цели.

Сто больше одного — эта мысль маскирует другую, прямо противоположную: один (Я!) больше и ста, и тысячи, больше миллиона. Поэтому-то такому одному и «все дозволено».

Итак, счет в «арифметике» оказывается двойным.

Осознается это далеко не всегда и далеко не сразу, но весь прогресс личности, все очеловечение человека и зависит прежде всего от беспощадного осознания этой двойной бухгалтерии.

Такой представляется логика Достоевского.

И все же остается еще один — важнейший и неотразимый вопрос: все эти истины превосходны, чисты и благородны, но как с ними быть в жизни реальной, а не выдуманной, в жизни еще не преображенной?

Что делать, если, к примеру, Раскольникову пришлось бы спасти честь сестры от того же Свидригайлова и не было бы других средств, кроме насилия против насильника или даже его убийства? Эпизод на бульваре, когда Раскольников кинулся с кулаками на франта, лишь похожего на Свидригайлова и пристававшего совсем не к сестре, а к проходящей не знакомой никому девушке, кажется, не оставляет сомнений в ответе на этот вопрос. Выходит, насилие не является абсолютно недопустимым и абсолютно безнравственным средством?

Думается, вряд ли даже Достоевский, будь он жив сегодня, имел бы расхождения с нами по вопросу, существуют ли другие способы спасения человечества от гитлеризма, кроме как уничтожить его, буквально стереть с лица земли. Во всяком случае, фактом является, что многие его нынешние почитатели, даже из лиц духовного сословия, воевали сами и благословляли войну против гитлеровцев, преодолев, кстати говоря, необоснованные сомнения насчет мнимого противоречия средств целям, ибо целью здесь и было спасение человечества, уничтожение фашизма. И «счет» здесь шел — не мог не идти! — на миллионы во имя спасения сотен миллионов.

Беспощадный реалист в разоблачении преступлений Достоевский, что касается наказаний, выступает чаще как утопист. Но не всегда. <...>

Иван отказывается от рая, от «высшей гармонии»: «Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка... Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему!» В ответ на вопрос, как поступить с этим убийцей, Алеша (инок!) шепчет: «Расстрелять!»

Если даже из такого, казалось бы, безобидного, светлого облачка вдруг ударила такая молния, то какие же бури и грозы предстояло перенести России? И хотя Достоевский всячески стремится смягчить и примирить все непримиримые социальные интересы, можно сказать, что — вопреки его намерениям — от этих страниц и от многих других тоже веет духом классовой борьбы... «Я взглянул окрест себя, душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Эти радищевские слова-завет могли бы повторить все классики нашей литературы. Но, кажется, сильнее всего они звучат в произведениях Достоевского. («Смею уверить, что “лик мира сего” мне самому даже очень не нравится», — писал Достоевский). Даже в моменты своей предельной вражды к революции он оставался верен завету первого русского революционера. «Страшись, помещик жестокосердый! На челе каждого из крестьян твоих вижу осуждение твое... О! Если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом... главы бесчеловечных своих господ..!» — писал Радищев. И разве в Алешином ответе не чувствуется отзвук такой же ярости? <...>

Достоевский и сам лично знал, что значит эта жестокая и оправданная ярость: его отец, как известно, был убит крестьянами, и это событие очень глубоко, сильно и навсегда поразило его. <...> А разве не заставляет Алеша вспомнить и пламенный ответ Белинского Гоголю? В этом однословном ответе «Расстрелять!» — итог и предчувствие предельного накала борьбы. Да, это самые раскаленные страницы во всей русской литературе...

И снова возникает мысль: а что бы сказал Достоевский об Освенциме?

Но не забудем ни на мгновение, что тот же самый Достоевский выдвигал разоблаченные им самим «арифметические» доводы в пользу царских, реакционных, захватнических войн, поддерживал внешнюю политику царизма, освящал ее с помощью самых «высоких» соображений, способствовал разжиганию шовинизма, стремился отрезать Россию от Запада и проповедовал реакционно утопическую идею о том, будто «Царь наш действительно миролюбив... и жалеет кровь человеческую», будто «война освежит воздух, которым мы дышим» (Достоевский Ф. М. Полное собр. соч. СПб., 1895. Т. II. С. 109–121). И тот же Достоевский, тут же следом, буквально через страницу, в том же «Дневнике писателя», как бы во искупление такого «срыва», опубликовал гениальный «Сон смешного человека», где возопил против войн, в которых, «для ускорения дела, “премудрые” старались поскорее истребить всех “непримудрых” и не понимающих их идею, чтобы они не мешали торжеству ее». В этом «Сне» он проповедовал прекрасную, но утопическую идею: «А между тем, как это просто: в один бы день, в один бы час — все бы сразу устроилось! Главное — люби других как себя — вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться» (Там же. С. 139, 141).

«Выделяться в человека»

Мысль об опасности «арифметики» и о спасительности «счета» с точностью до единицы является одной из ведущих для Достоевского на протяжении всего его творчества. Вспомним только общеизвестное: кроме возвращения «билета» в мировую гармонию Иваном Карамазовым, — отказ строить дворец, в фундаменте которого заложено страдание («Речь о Пушкине»).

Подобным же лейтмотивом развивается в течение почти 40 лет и другая мысль художника — мысль о «самовыделке», самовоспитании человека, о труднейшем пути такого самовоспитания.

Входила эта идея и в замысел «Преступления и наказания»: «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием... <...>». В словах этих заключена, в сущности, жестокая (только кажущаяся умили-

тельной) мысль о неизбежности страданий, о примирении с ними (то, что принято называть «достоевщиной»). Но есть здесь и другая, не жалкая, а мудрая и мужественная мысль о цене счастья, о том, что оно не дается даром. В романе этом Достоевский особенно не мирится с тем страданием, которое является следствием социальной несправедливости, вернее, борется с таким примирением. Реальное содержание «счастья», о котором говорит писатель, очищенное от религиозных наслоений, — это и есть изживание «арифметического» мировоззрения и замена его мировоззрением гуманистическим, признающим неповторимость и, стало быть, незаменимость каждой личности.

В период работы над «Преступлением и наказанием» Достоевский сделал такую запись в черновике: «Алеко убил. Сознание, что он сам не достоин своего идеала, который мучает его душу. Вот преступление и наказание». И вспомним еще из «Речи о Пушкине» о том же Алеко: «Не в вещах... правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде в твоём собственном труде над собою».

Многими принято (и не без оснований) думать, что самовоспитание, самосовершенствование, по Достоевскому, — это нечто аморфное, безвольно-пассивное, религиозно-усладительное. Однако здесь фиксируется лишь одна (хотя и несомненная, хотя и страшная, опасная, а в сущности, опять-таки и жестокая) тенденция противоречий Достоевского. Другая, не менее, а порой и более важная и даже порой доминирующая тенденция заключается как раз в жесткости, мужественности его нравственных требований, предъявленных прежде всего к самому себе, а затем и к людям, особенно к тем из них, кто претендует на роль идеологов, идееносителей, кредоносцев, так сказать. В «Дневнике писателя» читаем: «По-моему, одно: осмыслить и прочувствовать можно даже и верно и разом, но сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина. Вот эту-то неустанную дисциплину над собой и отвергают иные наши современные мыслители... Мало того. Мыслители провозглашают общие законы, то есть такие правила, что все вдруг сделаются счастливыми, безо всякой выделки, только бы эти правила наступили. (Эти мысли часто исповедовал и сам Достоевский — вспомним только “Сон смешного человека”. — Ю. К.) Да если бы этот идеал и возможен был, то с недоделанными людьми не осуществились бы никакие правила, даже самые очевидные. Вот в этой-то неустанной дисциплине и непрерывной работе самому над собой и мог бы проявиться наш гражданин».

Ни отдельный человек, ни тем более все человечество не могут «выделаться разом». Не могут сразу получить «весь капитал». Нет, эта мысль не пустая абстракция (особенно когда она открывается

средствами искусства). Не является пустой абстракцией и мысль об опасности «арифметики» и о необходимости «счета» с точностью до «единицы». Это мысли, добытые слишком дорогой, самой дорогой ценой, и за пренебрежение к ним человечество может сегодня заплатить своей жизнью. Это мысли живого и животворного, конкретного и деятельного гуманизма, сохранившегося в людях (и в Достоевском) не благодаря, а вопреки религиозно-абстрактным ламентациям. «Да, зверства в народе много, — писал Достоевский, — но не указывайте на него. Это зверство — тина веков, она вычистится» (*Достоевский Ф. М. Полное собр. соч. Т. XII. 1926–1930. С. 128*). Значит, «первородного греха» нет.

Открытый финал

Нет ничего более поверхностного и бездоказательного, как отождествлять воззрения самого Достоевского со взглядами его непоколебимо верующих героев. Достоевский словно сам порождает и верующего и атеиста, сшибает их в схватке и замечает вдруг, что вера-то мертва и что уже воскресить ее нельзя, но он умоляет ее воскреснуть. Его «самокритика» христианства — это самоубийство религии. Достоевский в известной мере похож на «игрока». Он «выигрывает» (так ему кажется порой), «ставя» на бога, но тут же он «ставит» на безбожие и снова «выигрывает». Ставки растут до предела. Проигрыши сменяются выигрышами, а остановиться на каком-либо итоге он не может. Да так и не смог до конца жизни.

«Богохульствую для виду», — сказал однажды Достоевский.

Ему хотелось бы, чтобы это было так. Но если бы это было действительно так, то откуда бы взяться всем мучениям его?

«...В Европе такой силы атеистических выражений нет и не было, — писал Достоевский, — не как же мальчик я верую в Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя Осанна прошла».

Но в том-то и дело, что «прошла» и снова вернулась в это горнило.

«Меня всю жизнь бог мучил...»

Вот это признание не вызывает сомнений. Бог для него — то самый наиглавнейший «убивец», то главный спаситель (но спасение все откладывается и откладывается, а зло наступает!).

А в действительности, конечно же, его больше всего человек мучил, а не бог!

«Человек есть тайна! Надо разгадать ее», — записал он еще в 1838 году семнадцатилетним юношей.

«Открыть человека в человеке» — (даже в Свидригайлове и Ставрогине, даже в Смердякове и Великом инквизиторе) — так формулирует

Достоевский основную задачу искусства спустя 40 лет, когда ему было уже под шестьдесят.

«Когда же пресечется рознь и соберется ли когда-нибудь человек вместе» — вот лейтмотив всего его творчества.

Созданный им художественный мир вращается вокруг человека, а не вокруг бога. Человек — солнце в этом мире. Должен быть солнцем!

Для Достоевского Катерина Ивановна реальнее, ближе, роднее, чем абстрактный бог.

Она для него выше бога. Ее он и на бога никакого не променяет.

И Христа-то он любил (больше, если не исключительно) не как бога, а как страдающую личность, как человека, живого, «вот этого», как князя Мышкина своего или Дон Кихота.

С гениальной художественной чуткостью Достоевский обрывает «Преступление и наказание» перед моментом религиозного «просветления» Раскольникова. «Просветление» это лишь декларируется. Изобразить «великий будущий подвиг» своего героя у Достоевского не хватило силы — силы религиозного убеждения. Но у него достало силы другой — земной, силы реализма. Ему даже не пришлось, как Гоголю, сжигать свой второй том «Мертвых душ», — Достоевский так и не написал его никогда. Религиозная «выделка» не получилась. Раскольникова воскресила не религия, а любовь Сонечки. И не случайно он признается в преступлении тогда, когда понял, что «Соня теперь с ним навеки и пойдет за ним хоть на край света, куда бы ему ни вышла судьба». И закономерно, что в утро его воскрешения (Эпилог) снова звучит тема солнца — возникает образ «облитой солнцем необозримой степи»... А решение Свидригайлова покончить с собой (или, как он мрачно острит, «уехать в вояж», «отправиться в Америку») тоже не случайно делается необратимым именно после того, как он услышал от Дуни: «Никогда!»

«Общая точка» между Раскольниковым и Свидригайловым была, но исчезла. За самоубийством одного и следует воскрешение другого.

По замыслу своему, Достоевский должен был нарисовать в финале, как «трихины» побеждаются религиозными антитрихинами. Но он и сам не мог не видеть утопичности этих желаний. И не поэтому ли картина моровой язвы заканчивается такими словами: «Спаستись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видел этих людей, никто не слышал их слова и голоса...».

Мир, о котором мечтал Достоевский, это мир, где спасаются все, а не только «чистые», спасаются здесь, на земле, в посюстороннем мире.

Приведем, кстати, один разительный пример внутренней враждебности, несовместимости воззрений Достоевского со взглядами такого столпа экзистенциализма, как Бердяев, претендовавшего на монопольное владение художественным наследством Достоевского. Достоевский писал: «...несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо, люблю жизнь для жизни и, серьезно, все еще собираюсь начать мою жизнь... Вот главная черта моего характера; может быть и деятельности». Уитменовское осталось в нем неистребимым, несмотря ни на что. А вот как Бердяев, для которого — все к худшему в этом худшем из миров, подвел итог своей жизни: «Моя религия отрицания мира возникла из патологического и всеобъемлющего чувства отвращения к действительности, из брезгливости к жизни, брезгливости к самому себе... Я провел жизнь с полузакрытыми глазами и носом, вследствие отвращения... Мне чуждо было чувство вкоренённости в землю» (Бердяев Д. Самопознание. Париж, 1949. С. 13, 33). Достоевский минус «достоевщина» — это величайшее, ценнейшее наследие человечества. Бердяев минус «бердяевщина» — это нуль, потому что эти оба понятия тождественны.

Неверно, необъективно приписывать Достоевскому исключительно апокалипсическую, эсхатологическую направленность. В действительности, если поиски «подспудного, невысказанного, будущего Слова», искусство как художественное предвидение развития человечества является важнейшей особенностью искусства Достоевского, то, как правило, вопрос о будущем для него — это меньше всего вопрос о библейском будущем. Дилемма — между крестом и топором, третьего не дано! — выдвинутая Достоевским, им же самим объективно и разрушается. Отвергается не только топор, но часто и крест. Всю жизнь Достоевский искал именно третье.

Многое проясняют следующие слова из черновиков Достоевского:

«Божия правда, земной закон берет свое, и он (Раскольников. — Ю. К.) кончает тем, что принужден сам на себя донести. Принужден, чтоб хотя погибнуть в каторге, но примкнуть к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое... Преступник сам решает принять муки, чтобы искупить свое дело...».

Здесь воочию видно, как туго завязан узел противоречий Достоевского. С одной стороны, «божия правда». С другой — «земной закон», «человеческая природа».

И в самом Достоевском (особенно в «Преступлении и наказании») «земной закон» брал свое вопреки закону религиозному. Вот она — неодолимость «правды посюстороннего мира»! Но выхода из своих противоречий Достоевский так и не нашел.

В конце романа он пишет о Раскольникове: «Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое». Итак, «арифметика» объявляется «диалектикой»! В действительности же, как могли бы мы сказать сегодня, «жизнь наступила» не вместо диалектики, а вместо метафизики, а выработаться и должна была именно диалектика. Реально, объективно Достоевский доказал не банкротство рационализма вообще и необходимость иррационализма, а лишь несостоятельность ограниченного, одностороннего, самодовольного рационализма, абсолютизирующего частные успехи науки и, в сущности, спекулирующего на них, не способного обобщать, систематизировать результаты непрерывно развивающейся науки в целом и противостоящего такому мощному, ничем не заменимому средству самопознания человечества, как искусство.

М. Бахтин, чья выдающаяся книга о Достоевском находит все более широкое и справедливое признание, очень точно сказал: «<...> ничего окончательного в мире еще не произошло, последнее слово мира и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, еще все впереди и всегда будет впереди» (*Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 114, 223*).

Незавершенность, хаос новых возможностей, открытый финал — это не внешняя особенность романов Достоевского, а, может быть, наиболее выразительное и существенное проявление глубокой диалектичности его художественного мышления, в особенности проявление внутренней неудовлетворенности художника готовым библейским решением.

Правда, Достоевский возвращает «билет» не только богу, но и социализму. Но по каким причинам? Он отвергает «верховенщину», «Великого инквизитора» за то же самое, за что отвергает и бога! За оправдание зла, существующего и умножающегося в мире. Он не примет никакой теодицеи, ни чисто религиозной, ни светской. По существу, Достоевского отталкивала от тогдашнего известного ему анархического социализма (кроме буржуазности) не столько атеистичность, сколько его светская религиозность, то есть его стремление не ликвидировать, а лишь сменить атрибуты всякой религии — «чудо, тайну и авторитет». Но неприемлемая теодицея снова возвращается и к самому Достоевскому, ибо больше всего он сам обожествляет одно — само противоречие, причем именно то, которое называется антагонистическим противоречием. Зло оказывается тоже неустранимым и оправданным (впрочем, и здесь не до конца, и здесь на время) именно как необходимая сторона такого противоречия. Изжить влияние мелкобуржуазного сознания с его вечными колебаниями между полюсами абсолютного отчаяния и мистической надежды (когда амплитуда

колебаний между этими полюсами растет, кажется, до бесконечности) Достоевский не смог.

Не имея здесь места подробно развить мысль о глубоком внутреннем сходстве характера художественного мышления Достоевского и философского мышления Гегеля (если, разумеется, учесть специфику того и другого и если освободить то и другое от неизбежной их ограниченности, от всевозможных привходящих наслоений и т.д.), мы все же хотели бы обратить внимание на перспективность такого сравнительного анализа. «Феноменология духа», может быть, в особенности дает богатейший материал для этого сравнения.

«Полифонии полноценных голосов» у Достоевского соответствует ведущая идея «Феноменологии» <...>.

Такие категории «Феноменологии духа», как «господин» и «раб», «стойк» и «скептик», «несчастное сознание», «разорванное сознание», «благородное сознание» и т.д., позволяют глубже проникнуть и в мир художественных образов Достоевского. <...>

Надо ли доказывать, насколько здесь диалектика мысли Гегеля проникает в самую сердцевину неизвестного ему образа Раскольниковова, у которого как раз «безумие сердца для блага человечества переходит в неистовство безумного самомнения»? Это ли не парадоксальное доказательство силы того самого рационалистического мышления, против которого боролся Достоевский!

Трудно найти лучший эпитаф к гегелевской «Феноменологии», чем слова Достоевского о том, что «сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина». (Не забудем, что для Гегеля человек — это мыслитель.)

В сущности, все творчество Достоевского — это и есть художественная «Феноменология духа», которая, в свою очередь, тоже опровергла панлогизм Гегеля, считавшего, будто расцвет искусства позади и относящегося к нему лишь как к «полуфабрикату Понятия» (Ильенков Э. В. К оценке гегелевской концепции отношения истины к красоте // Борьба идей в эстетике. М., 1966. С. 98).

Так два гения подтвердили и опровергли один другого. Подтвердили действительно истинное и опровергли действительно ложное.

«Достоевщина» как умиление страданием, как наслаждение больной совестью — факт. Но к «достоевщине» Достоевский не сводится так же, как Гегель не сводится к «пруссаку». Во всестороннем доказательстве этого — одна из важных заслуг марксистской критики. Можно на момент выделить отдельные идеи Достоевского, но нельзя забывать, что в мире его искусства все они туго связаны. И этот узел не гордиев. Его нельзя разрубить, потому что все нити — органические, все они — как кровеносные сосуды, пусть течет по ним разная кровь.

*О некоторых нарушениях условий «дуэли»
Маркса и Достоевского*

В 1964 году в США вышло любопытное издание «Преступления и наказания». Вместе с новым переводом романа, здесь опубликованы выдержки из черновики и писем художника, а также статьи русских, советских и зарубежных, марксистских, не-марксистских и антимарксистских авторов о Достоевском.

Можно искренне поздравить американского читателя с этим изданием. К одной же из опубликованных статей А. Моравиа, «Дуэль Маркса с Достоевским», хотелось бы сделать несколько замечаний.

Сама идея — сопоставить мировоззрение этих двух гениальных людей — чрезвычайно плодотворна. Этот путь исследования может привести к действительно новым важным выводам. Но, кажется, А. Моравиа упустил эту возможность.

Понятно его неприятие взглядов и действий тех, кто сделал из насилия новую, абсолютную религию. Но, сталкивая в дуэли Маркса и Достоевского. А. Моравиа словно обезоружил первого, не зарядил его пистолет, вернее, вообще вывел на дуэль не того Маркса, который был в действительности. После этого легко, конечно, отдать победу Достоевскому.

Маркс и Энгельс провозгласили: «Цель, для которой требуются не-правые средства, не есть правая цель» (*Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 65*). Основное содержание грядущей эпохи — это борьба за создание общества, где «ты можешь любовь обменивать только на любовь, доверие на доверие... Если ты хочешь оказывать влияние на других людей, то ты должен быть человеком действительно стимулирующим и движущим вперед других людей» (*Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. С. 619–620, 637*). В этом обществе будут установлены «истинно человеческие отношения», установлены «по законам красоты». Здесь прекратится «труд, диктуемый нуждой и внешней целесообразностью», здесь всестороннее развитие личности есть единственная «самоцель» истории, говорилось в том самом «Капитале», первый том которого вышел в 1867 году, почти одновременно с «Преступлением и наказанием». И только здесь человеческий прогресс перестанет «уподобляться тому отвратительному языческому идолу, который не желал пить нектар иначе, как из черепов убитых» (*Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 9. С. 230*).

Это мысли Маркса и Энгельса не только 40-х, но и 50-х, но и 60-х, 70-х и 80-х годов, мысли, добытые тем самым рационалистическим, но только подлинно научным путем, который столь предвзято отвер-

гал Достоевский, но объективно, неожиданно для себя, подтверждал. К примеру, в «Братьях Карамазовых» «Великий инквизитор», обращаясь к Христу, противопоставляет его «романтике» свой «реализм» <...>. Инквизитор этот, молясь богу, давно не верит ни в какого бога и, будучи немощным стариком, самоотверженно (и сладострастно) отдается одному — использованию неограниченной власти, конечно, во имя «всемирного счастья людей». Его самосознание иезуита достигло абсолютной «чистоты принципа», а тем самым и предельного самооправдания. Палач сознает себя спасителем и трагическим великомучеником <...>. Тут уже не «арифметика», но алгебра, высшая математика, так сказать! Достоевский полагал, что он разоблачает не только католическую, иезуитскую систему, но и коммунизм. Однако тридцатью годами раньше Маркс заземлил эту проблему и начал научно исследовать корни и закономерности системы, которая с неизбежностью порождает инквизиторов великих и малых, а главное, противопоставил коммунизм строю, при котором: «Бюрократия считает самое себя конечной целью государства. Так как бюрократия делает свои «формальные» цели своим содержанием, то она повсюду вступает в конфликт с «реальными» целями... Бюрократия есть круг, из которого никто не может выскочить. Ее иерархия есть иерархия знания... Верхи полагаются на низшие круги во всем, что касается знания частных, низшие же круги доверяют верхам во всем, что касается понимания всеобщего, и, таким образом, они взаимно вводят друг друга в заблуждение... Бюрократия имеет в своем обладании государство... это есть ее частная собственность. Всеобщий дух бюрократии есть тайна, таинство. Соблюдение этого таинства обеспечивается в ее собственной среде ее иерархической организацией, а по отношению к внешнему миру — ее замкнутым корпоративным характером. Открытый дух государства, а также и государственное мышление представляется поэтому бюрократии предательством по отношению к ее тайне. Авторитет есть поэтому принцип ее знания, и обоготворение авторитета есть ее образ мыслей... Что касается отдельного бюрократа, то государственная цель превращается в его личную цель, в погоню за чинами, в делание карьеры... Бюрократ должен... относиться по-иезуитски к действительному государству, будет ли это иезуитство сознательным или бессознательным. Но, имея своей противоположностью знание, это иезуитство по необходимости должно также достигнуть самосознания и стать намеренным иезуитством» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 271–272).

Еще одно сопоставление. «Какой прекрасный образчик казарменного коммунизма!» — писали Маркс и Энгельс по поводу той самой нечаевщины, которую Достоевский отождествлял со всяким коммуниз-

мом. А еще за восемь лет до появления «Бесов» Маркс предупреждал: «Мы теперь уже знаем, какую роль в революциях играет глупость и как негодяи умеют ее эксплуатировать» (кстати, В. И. Ленин выписал и подчеркнул это высказывание. См.: *Ленин В. И. Конспект «Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса. 1844–1883 гг.»*. М., 1959. С. 310). Достоевский же всех революционеров свел к негодьям и глупцам, всех их изобразил «бесами» и сделал это отчаянно предвзято и недобросовестно (пример со стихотворением в честь Нечаева, приписанным Герцену, далеко не единственный), тем более недобросовестно, что сам не раз признавал и ум, и честь, и совесть многих известных ему революционеров, их «неподдельную любовь к человечеству», «энтузиазм к добру» и «чистоту сердца»... Раньше Достоевского, не менее ярко, чем он, и глубже его Маркс вскрыл механизм сознания негодяев, эксплуатирующих глупцов. Он применил (и развил) по отношению к ним гегелевские понятия — «благородное» и «честное» сознание: оно «всегда доставляет радость самому себе. Это “честное сознание” скрывает под назойливой добродетелью все мелкие вероломные повадки и привычки филистера. Оно вправе разрешать себе всякую подлость, ибо знает, что оно подло из честности. Сама глупость становится достоинством, так как является неопровержимым доказательством твердости убеждений. Всякая задняя мысль его (человека с таким сознанием. — Ю. К.) поддерживается убеждением во внутренней прямоте, и чем тверже “честное сознание” задумывает какой-либо обман или мелочную подлость, тем более простодушно и доверительно оно может выступать. Все мелкие пороки мещанина в ореоле честного намерения превращаются в его добродетели, гнусный эгоизм предстает в приукрашенном виде, в виде якобы принесенной жертвы, трусость рисуется в виде храбрости в высшем смысле слова, низость становится благородством, а грубые, развязные мужицкие манеры преобразуются в проявления прямодушия и хорошего расположения духа». «По Гегелю, благородное сознание неизбежно превращается в низменное сознание... благородному сознанию свойственно выражать истину в “высшем” смысле с помощью лжи в “обычном” смысле» (*Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 8. С. 290; Т. 9. С. 501*).

Но главное заключается в том, что марксизм раскрыл тайну всех тайн — отчуждение труда, определив исследование реальных, объективных условий, обеспечивающих преодоление этого отчуждения, и тем самым подвел наконец и единственно реальную базу для осуществления тех подлинно гуманистических идеалов, которые были выработаны всем ходом развития человечества, рождены лучшими его умами. Марксизм доказал, что без науки объективно точная ориентировка в мире как для отдельной личности, так и для всего общества

невозможна. Социология и превратилась в науку, и отныне «округление» в ней стало возможным (и необходимым) не в ущерб интересам человека и человечества, а во имя этих интересов.

В высшей степени замечателен и такой факт, уже из 90-х годов. В 1894 году итальянские социалисты обратились к Энгельсу с просьбой подыскать строчку для эпиграфа в свой новый журнал. Эпиграф этот должен был выражать основную идею грядущей эпохи — социализма в противовес старой эре, определенной словами Данте: «Одни люди властвуют, а другие страдают». Энгельс отвечал: «Сформулировать в немногих словах идею грядущей эры, не впадая ни в утопизм, ни в пустое фразерство — задача почти невыполнимая» (*Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 39. С. 166–167*). И все же он нашел такие слова — слова о том, что коммунизм означает ассоциацию, где «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». Слова эти взяты из «Коммунистического манифеста». С ними марксизм впервые выступил перед миром. Они стали одним из главных пунктов завещания его создателей.

В марксизме есть и богатейшая традиция непримиримой борьбы против «грубого», «уравнительного», «казарменного», «непродуманного» коммунизма, то есть против того самого «коммунизма», который всю жизнь был врагом Достоевского и который он смешивал со всяким коммунизмом. Этот псевдокоммунизм не только известная тактика, основной чертой которой является сектантство, но целая система воззрений, особое мировоззрение, главный признак которого — «представлен не о некоем минимуме» или «определенная ограниченная мера» (*Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. С. 586*). Эта мера заставляет собственный узкий кругозор навязывать миру в качестве закона мироздания, низкий потолок принимать и выдавать за небо. А потом на «небо» это вскарабкиваются новые боги, благо карабкаться невысоко... Это — предельное снижение критериев социального прогресса, критериев коммунизма, включающих в себя всю совокупность экономических и политических, идейных и этических показателей. Отрицание личности — таков исходный и конечный пункт идеологии «казарменного коммунизма». В этом его подлинное кредо, здесь его и цель и средство, здесь его идеал и путь к достижению этого идеала. Отрицание личности ведет к разнуздыванию зависти как скрытой формы стяжательства, зависти, стремящейся к власти и к расправе над конкурентами. Оно порождает жажду нивелирования, жажду всеобщей серости, серединности, грубое уравнивание в труде и в заработке, воинствующее невежество, проповедь вражды к знанию, тупую, солдафонскую ненависть к «образованным». Идеологи «казарменного» коммунизма заменяют ложь о потустороннем мире

ложью о мире посюстороннем, превращают живое учение марксизма в мертвую светскую религию, беспрекословных сторонников этой религии — в попов-инквизиторов, а всех инакомыслящих — в еретиков. Недоучки, стремящиеся стать учителями человечества, «слепые вожди слепых» — таковы боги, цари и герои этой религии. Не зная силы сопротивления социальной материи, не изучая этого своеобразного и самого сложного «сопромата», «казарменные» коммунисты пытаются коверкать, насиловать историю, и она им за это жестоко мстит.

О Марксе — критике псевдокоммунизма — А. Моравиа, к сожалению, ничего не сказал.

Даже добросовестные оппоненты наши (о примитивах я не говорю) слишком часто судят Маркса не по Марксу, а по его вульгарным «переводчикам». О таких «переводчиках», кстати, сам Маркс говорил незадолго до смерти — больше с горечью, чем шутливо: «Я знаю только одно, что я не марксист».

Но, думается, нет оснований соглашаться и с той оценкой, которую А. Моравиа дал Достоевскому или, точнее, образу Раскольникова: «В противоположность стэндалевскому Жюльену Сорелю, другому почитателю Наполеона, Раскольников мечтает не о величии, а скорей о справедливости».

Но это же неверно фактически! Все содержание романа, а также анализ черновиков, записных книжек показывает, что формула «не — а» здесь не годится. Больше подходит «и — и». Причем именно больше-то Раскольников мечтает как раз «властвовать».

Таким образом, «дуэль», собственно, не состоялась.

Да и не в организации «дуэли» в сущности дело, а в том, чтобы не потерять ни одного грана нетленных духовных ценностей, созданных мыслителями и художниками прошлого. И если марксистские исследователи за последние годы, не боясь ни критики, ни самокритики, преодолели немало упрощений, предрассудков в отношении, например, Достоевского (и не утратив, разумеется, критического отношения к нему, а сделав такое отношение более основательным и убедительным), то многим нашим добросовестным оппонентам еще предстоит преодолеть свои предрассудки в отношении марксизма (так, например, как это делал сам А. Моравиа за минувшие десять лет со времени написания своей статьи).

А задача преодоления этих предрассудков тем более неотложна, что наряду с огромной открыто антикоммунистической литературой, сознательно извращающей позиции марксизма (и не без влияния такой литературы), за последние годы среди части даже демократической и даже социалистической интеллигенции Запада выявилась своеобразная мода на незнание марксизма. Незнанием марксизма,

нежеланием его изучать гордятся, щеголяют, кокетничают, считают это непременно признаком и доказательством «прогрессивности» и «независимости» своих воззрений: «Ах, не говорите мне о Марксе! Надоело! Это же сегодня не модно!» Одно из объяснений подобного явления заключается в том обстоятельстве, что марксизм извращался и извращается многими его якобы сторонниками. Но отсюда следует, что тем более необходимо изучать, знать то, что извращено, очищать марксизм от вульгаризации. Что из того, что кто-то, не обладающий элементарным слухом, не понимает, искажает, опошляет «Героическую симфонию» и при этом еще претендует на монопольное владение ею? Следует ли отсюда, что мы должны отбросить Бетховена?

Новейшая мода на незнание марксизма только на руку и антикоммунистам и вульгаризаторам. Спекуляциям противопоставляется незнание. Одному, явно своекорыстному и до очевидности глупому, невежеству противопоставляется невежество другое, но якобы умное. И люди, гордящиеся своей «прогрессивностью» и «независимостью», модничающие своим незнанием марксизма, способствуют достижению целей, как раз прямо противоположных своим намерениям.

Но, конечно же, лишь от самих марксистов, и ни от кого больше, зависит преумножение той «непреодолимой привлекательной силы» марксизма, о которой говорил В. И. Ленин.

